

ЛОКАРМЕН

РАСКРЫЗЪ

Лазарь Кармен

## Павший в бою

В Одессе нет улицы Лазаря Кармена, популярного когда-то писателя, любимца одесских улиц, любимца местных «портосов»: портовых рабочих, бродяг, забияк. «Кармена прекрасно знала одесская улица», – пишет в воспоминаниях об «Одесских новостях» В. Львов-Рогачевский, – «некоторые номера газет с его фельетонами об одесских каменоломнях, о жизни портовых рабочих, о бывших людях, опустившихся на дно, читались нарасхват... Его все знали в Одессе, знали и любили». И... забыли?..

Он остался героем чужих мемуаров (своих написать не успел), остался частью своего времени, ставшего историческим прошлым, и там, в прошлом времени, остались его рассказы и их персонажи. Творчество Кармена персонажами переполнено. Он преисполнен такой любви к человекам, грубым и смешным, измороженным и мечтательно изнеженным, что старается перезнакомить читателей со всем остальным человечеством.

**Лазарь Кармен  
Павший в бою**

Конфексион М-г Шевалье «Au bon gout»[1] считался моднейшим и богатейшим в городе. Он смахивал на новенькую японскую шкатулочку. Все в нем блестело, самый придирчивый глаз не открыл бы ни единой пылинки и пятнышка на его паркете, залитом узорчатой клеенкой, на его шкафах и полках из черного дерева, туго набитых дорогими материями, на таких же прилавках, изящной мебели, трюмо, и по вечерам, когда снаружи, над дверьми, шумно вспыхивал громадный, молочной белизны баллон и внутри – десятки лампочек, расположенных созвездиями, он превращался в чертог – чертог Меркурия. И приятно было прохожему, даже чуждому миру мод, заглянуть в него через толстое венецианское стекло. Никто не мог пройти равнодушно.

Дом, в котором он помещался, соответствовал ему вполне. Он возвышался над прочими наподобие крупного цветка, украшенный легкими балкончиками в виде раковин, китайских пагод и минаретов, статуями и маленькими и большими куполами.

Конфексион занимал два этажа. Во втором

было отделение детского платья, и к нему вели два мраморных марша, широких, как в театре. На видном месте, над круглыми часами, сиял самодовольный и неумолимый девиз Шевалье – *prix fixe*. [2]

Общую картину его дополняла выставка – две гигантские витрины с четырьмя эффектными, грудастыми молодыми дамами, разодетыми по последней моде, – в перчатках, шляпах и под вуалями. Они точно собрались на свидание.

У ног их пестрели несколько штук тончайших переливчатых материй, небрежно, но со вкусом разбросанных по подоконникам, и последние номера «*Wiener Chick*» [3] и «*Chic Parisien*». [4]

В конфексионе во всякое время дня можно было встретить несколько дам с прекрасными манерами, как у герцогинь, – представительниц высшего круга, денежной аристократии, артисток, кокоток, копающихся в волнах материй и беседующих с закройщиком и галантными приказчиками. Они подъезжали к нему, развалясь, в собственных экипажах и ландо с лошаадьми в английской упряжи и ку-

черами в желтых рейтузах, фраках и цилиндрах.

За пневматической кассой, огороженной высокой деревянной решеткой, восседала дама, чрезвычайно похожая на огромную куклу. У нее было круглое лицо без всякого румянца, но зато с дивным матовым оттенком, большие иссиня-темные глаза с нетронутыми ресницами и пышная огненная шевелюра, вся в завитушках. На верхней, слегка приподнятой и пухлой губе пушились тоненькие усики.

Дама одевалась очень богато, говорила приятным, хотя и несколько простуженным контральто и никогда не снимала с головы широкой шляпы, обвеянной белоснежным облаком из страусовых перьев.

Когда она улыбалась, по обеим сторонам ее миниатюрного рта, собранного в алый цветок или безделушку из коралла, откладывались глубокие ямочки, а когда она хваталась за ручку кассы, бриллиантовые серьги, спускавшиеся до самых плеч, вздрагивали и роняли снопы искр.

Возле нее, сбоку, всегда стояли ваза с букетом

том и граненый бокал с прохладительным – оршадом или лимонадом. А позади, нежно наклонившись над нею через плечо, когда никого в магазине не было, что, впрочем, случалось редко, стоял такой же великолепный, как и она, мужчина, картинка, сошедшая с модного журнала, и что-то нежно нашептывал ей в ухо.

Это была счастливая чета Шевалье.

Мадам Шевалье, собственно говоря, озаряла собой конфексион всего полгода. До этого ее можно было видеть в местном варьете, на подмостках.

«Mlle Глория – известная исполнительница французско-немецких романсов» – так печаталась она на афишах.

К чести ее сказать, она вела себя на подмостках очень корректно. Она являлась перед публикой в скромном платье, застегнутом наглухо, до подбородка, в аршинных белых перчатках, и когда пела свои романсы, то смотрела своими большими глазами прямо перед собой, серьезно, совсем как оперная певица, и не разрешала себе никаких нескромных телодвижений. Она и пела недурно. Публике осо-

бенно нравились ее русские романсы. Она исполняла их, как все иностранки, забавно, но мило:

*Голубка моя, умышимся в кра-  
иа,  
Где все, как и ты, софержеанст-  
фо-о!..*

Скромность ее пленила Шевалье, и после нескольких задумчиво проведенных вечеров он торжественно сочетался с нею.

Каждый день, аккуратно в два часа, к магазину мягко подкатывал новенький кабриолет, уютный, как гнездышко колибри, для двоих, с грумом позади, и увозил их за город, к себе на виллу у самого моря, спрятанную в зелени плюща, гордых и упругих кленов и акаций.

Лично М-г Шевалье представлял собой типичного французского буржуа, перенесенного на русскую почву, крайне самодовольного, надутого и невежественного. Он весьма кичился своей принадлежностью к «великой нации» и считал себя в России таким же неприкосновенным, как китайское божество в кумирне. Чуть кто дерзал посягнуть на его

имуущество или персону, он требовал немедленного удовлетворения от русского правительства через французского посла.

До обзаведения собственным конфексионном он долго работал у лучшего портного в Париже простым подмастерьем. В Россию он приехал с небольшими деньгами, но со знанием дела и быстро пошел в гору.

Когда-то, вначале, при открытии конфексиона, он сам кроил, примерял. Но в последние пять лет он ни разу не брался за иглу и ножницы. Он только и делал, что гоголем расхаживал по конфексиону, любовно поглядывая на шпалеобразные носки своих лакированных ботинок, на розовые ногти, и охорашивался перед зеркалом; сто раз на день он доставал из жилетного кармана то черепаховую гребенку, то щеточку и расчесывал и разглаживал свои волнистые, светлые усы и круглую бородку, подпертую высоким двойным воротником; часто менял костюмы и галстуки и встречал и провожал со сладенькой улыбочкой заказчиц, которым очень нравился.

Раз только он решился взяться за иглу. Это

было прошлым летом. В магазин вошел франт.

– Простите. Со мной только что на бульваре приключилась неприятность. Отскочила пуговица от пальто. Нельзя ли пришить?

Шевалье с истинно королевским жестом предложил ему скинуть пальто. Тот скинул.

Шевалье хотел было отправить пальто вниз, в мастерскую, но почему-то раздумал, взял его из рук франта вместе с перламутровой пуговицей и положил на стойку. Он достал из кармана игрушечный золотой наперсток с эмалью на доньшке, из-за обшлага своего прелестного пиджака – иголку и, по-прежнему молча и по-королевски, стал пришивать пуговицу.

По магазину пошел шепот. Комми, сбившись в кучку, с изумлением взирали на своего патрона. Это было таким событием.

Шевалье хотел пококетничать или развлечься от безделья.

В минуту пуговица была пришита. Франт со счастливым лицом натянул на себя пальто и протянул Шевалье двугривенный. Тот не пошевелил даже бровью и сухо процедил:

– Или рубль, или нышефо.

– За пуговицу-то?! – подскочил франт. Шевалье, не меняя величественной позы, измерил нахала с ног до головы презрительным взглядом.

Франт задергал лицом, как грудной младенец, собирающийся заплакать, достал рубль и со звоном бросил его на прилавок. Шевалье даже не притронулся к нему.

– Уберите! – сказал он спустя несколько минут спокойно приказчику, указав головой на рубль...

\* \* \*

– Monsieur Шевалье?

– Што такое? – спросил он лениво на ломаном русском языке старшего закройщика.

Он стоял спиной к нему, как всегда, самодовольный, сытый, изящный, и шлифовал напильником длинные треугольные ногти.

Закройщик, толстый угодливый мужчина, замялся.

– Ну-у! – подбодрил его Шевалье.

– Там... там, – проговорил он, краснея и за-

икаясь, – Зигмунд...

– Comment?[5]

– Я говорю, Зигмунд пришел.

– Кто он?

Шевалье за время разговора ни разу не повернулся к закрыщику.

– Штучник, который у нас работал... Он оставил мастерскую в числе тех... двенадцати...

Шевалье на этот раз быстро повернулся и спросил, высоко вскинув бровями:

– А что ему угодно?

– Просится обратно...

– Артель их, значит, фюить, тю-тю?!

– Да.

– О ла-ла! – весело пропел Шевалье.

В серых глазах его блеснул злорадный огонек.

– Глория!.. Ma petite! Слышишь! – сказал он громко по-французски. (Она проверяла за каской чеки.) – Дамская артель лопнула!

– Bravo! – воскликнула она и захлопала в ладоши. – Но кто сказал?

– Да вот – пришел один из этой банды и просится обратно.

– А-а!.. Canailles...[6]

Шевалье в сильном волнении зашагал по магазину. Пять месяцев назад рабочие предъявили какие-то требования. Это была такая дерзость. Он, конечно, отказал. Они оставили его и открыли собственный конфексион. Сколько в них было тогда гордости, самоуверенности. И теперь один приходит с повинной. О! Они все придут!..

– Позвать? – спросил несколько смелее закройщик.

– Naturellement Oui, oui![7] Это очень интересно.

Закройщик ушел и вернулся с тщедушным, маленьким человечком в рыжеватой бородке. В нем было много сходства с судном, потерпевшим сильную аварию.

Плохой пиджак висел на нем клочьями, башмаки расползались, как сыр, и длинную, как у птицы, сухую шею его еле прикрывала нижняя, давно не выдавшая мыла сорочка.

Он остановился в дверях, в тени, и тиская в руках шляпу, смотрел перед собой пугливыми глазами.

Там, в глубине магазина, освещенный яр-

ким дневным светом, стоял, широко расставив ноги, засунув руки в карманы и поджидая его, Шевалье. В фигуре его, в глазах сейчас просвечивало что-то кошачье, хищное.

– А! – проговорил он вкрадчиво. – Monsieur Зигмунд.

Зигмунд прижал к груди шляпу и пролепетал:

– Здравствуйте!

На него уставилось из-за прилавков и кассы тридцать пар глаз комми и Глория.

– Чего же вы стесняетесь?! Пожалуйста! – Шевалье мягким и округлым жестом пригласил его к себе.

Зигмунд короткими шажками, недоверчиво и закрывая рукой прорехи на платье, вышел на середину магазина.

Шевалье безгласно окинул его грязную сорочку, спутанную и как бы вылепленную из глины бородку, некрасивое, бескровное лицо с глубокими морщинами и провалами на щеках и воспаленными куриными глазами, поморщился и спросил тем же вкрадчивым голосом:

– Что с вами, милейший Зигмунд? У вас та-

кой нехороший вид! Неужели дела ваши так скверны? У вас, как мне казалось, так много заказов! Помилуйте, ваш конфексион!.. О ла-ла!

Шевалье вытянулся на носках, сунул в оба жилетных кармана по два пальца и откинулся назад всем корпусом. В пышных усах его затрепетала полупрезрительная-полуироническая улыбка.

– Его больше нет, – печально прошептал Зигмунд и опустил голову.

Губы у него были сухие – их точно долгое время держали под прессом – и шевелились с трудом.

– Ка-ак?! – притворился изумленным Шевалье.

– Артель наша распалась.

– Вот те раз! Но почему? Mais pourquoi?

– У нас не хватило средств.

– В самом деле? Ай-ай-ай! Как жалко! Но куда делись остальные ваши артельщики? Такие славные, энергичные, предприимчивые молодые люди!

– Не знаю, – ответил Зигмунд уклончиво, щуря воспаленные глаза.

Свет бил прямо в лицо.

– Они ведь собирались задушить меня.

За кассой послышалось хихиканье.

– Вы что же теперь делаете?

– Ничего.

Зигмунд посмотрел на него умоляюще и проговорил:

– Прошу вас... работы...

– Работы?! Вам работы?! Вы удивляете меня, monsieur Зигмунд! Такой независимый, самостоятельный мужчина!..

– Мы... я, жена и дети второй день голодаем... Один ребенок умер... Хозяин выбрасывает на улицу...

В горле у Зигмунда заклокотало.

– Да-а? Вас выбрасывают...

Шевалье переменял тон. Он холодно и с нескрываемым теперь презрением и брезгливостью посмотрел на Зигмунда и резко отчеканил:

– А мне какое дело!

Зигмунд рванулся к нему. Он хотел поймать его руку, но тот быстро отошел в сторону и снова отчеканил:

– Non!.. Ниет!

Это «ниет» прозвучало в магазине, как удар хлыста.

– Уберите его! – сказал он потом закройщику, указав на застывшую в согнутой позе с протянутыми и заметно дрожащими руками жалкую фигуру штучника, как некогда на тот рубль.

Закройщик убрал его. Он выпроводил его в холодную прихожую позади конфекциона.

Штучник, однако, не терял надежды смягчить черствое сердце бывшего патрона. Два дня, как тень, бродил он вокруг магазина, плакал перед закройщиком и несколько раз останавливал Шевалье, когда тот садился с женой в кабриолет.

Шевалье, чтобы отвязаться, смиловался и принял его обратно.

\* \* \*

Зигмунд спустился в мастерскую. Она помещалась в подвальном этаже, под конфексионом.

В мастерской с тех пор, как он оставил ее, ничего не изменилось. Та же грязь, сырость,

тот же низкий потолок, те же два окна, обросшие паутиной и отвратительной мутью, неохотно пропускающие свет с улицы, пылающая в углу, как глаз дьявола, конфорка, громадный стол, заваленный материей, мелкими, нитками и тяжелыми ножницами, четыре швейные машины, рокошующие наподобие водопадов и заглушающие всякую мысль, духота, смрад. Люди только другие.

Когда он ушел отсюда вместе с товарищами, их моментально заменили новыми. Они сидели вокруг стола, плечом к плечу, выкрутив дугой лоснящиеся спины, и скрипели иглами. Горящая и днем и ночью висячая лампа разливала вокруг мертвый, лунный свет.

При входе его они повернулись. Он боялся, что они встретят его враждебно, но вместо враждебности подметил в их глазах сочувствие. Они жалели его.

Закройщик вручил ему штуку – только что скроенный сак, и он подошел к столу. Рабочие потеснились и дали ему место.

Зигмунд положил к себе на колени сак и быстро забегал иглой. Он был счастлив. Наконец-то у него опять постоянная работа, кусок

хлеба. Правда, горек этот хлеб, зато верный, обеспеченный.

Зигмунд шил, не отрываясь, больше часу. Но вот в глазах его зарябило; вверх и вниз поплыли тысячи мелких радужных кружочков, и в висках застучало. Он поднял голову.

В мастерской стоял отвратительный угар. Все – лампа, стол, люди и машины – потонуло в мутных волнах, плывших незримо из зияющей ярко-красной пасти конфорки. Чувствовался также сильный запах пригорелого сукна и керосина. Штучники задыхались.

Кто-то пытался открыть окно. Напрасно. Оно не поддавалось.

Зигмунд с грустью вспомнил «их» мастерскую. Она была такая просторная, светлая, и в ней работалось легко и приятно.

А прежние товарищи! Разве можно сравнить их с этими?! Те были такие молодые, жизнерадостные, а эти – старые, скучные, кислые!.. Зигмунд тяжело вздохнул.

Вот здесь, у окна, на месте этого старого, лохматого штучника с искривленным позвоночником и красным, как у больных печенью, носом сидел весельчак и сорвиголова

Сашка. Рядом – Вейнцвейг-Мазини. Он обладал маленьким, но симпатичным тенорком и весь день пел, как птица, из «Гугенотов», «Демона», «Фауста», «Тоски».

Дальше сидела Лиза, подруга Сашки, худенькая, красивая шатенка с большими, как чайные чашки, и быстрыми глазами. Она контрабандой проносила газеты и читала вслух все новости. Там, где сидит он, Зигмунд, сидел ярый «политикан» Гончаров. Он вечно спорил с Лизой. А в углу, у другого окна, – Шпунт Мотель. Чудак! Он был влюблен в свою работу, как художник в свою картину. Его поэтому прозвали «второй Вайзовский» (Айвазовский).

Поджав под собой ноги, на скамье, как правверный, в расстегнутом и обвислом жилете, он священнодействовал, с головой уходил в штуку и, закончив ее, блаженно улыбался, прищелкивал языком и восклицал:

– Вот это жикет! Я понимаю!.. Чего-нибудь особенного!..

Теплые все ребята, славные! Где они теперь? Разбрелись, как стадо! Вейнцвейг уехал в Монреаль, в Канаду: там замужняя сестра

его торгует страусовыми перьями; Гончаров с горя запил, Шпунт – в больнице, Сашка в остроге. Говорят, у него нашли динамит...

Зигмунду приятно было думать о них. Он вспомнил уход их отсюда, все, вплоть до распада злосчастной артели.

Главная причина ухода – заработок. Он был так ничтожен. Жена и дети питались картофелем, редко рыбой и мясом, а они сами за работой – чаем и дешевой халвой. Потом эта ужасная обстановка.

Но окончательно заставило их уйти следующее: вместе с ними работал старик Войтов – серб. Однажды, прокорпев весь день над штукой без еды, он свалился. Полчаса приводили его в чувство – растирали, и когда доложили Шевалье, тот равнодушно заметил:

– Должно быть, выпил...

Итак, они ушли. Их двенадцать человек. Все воодушевлены, горят желанием сделаться независимыми, самостоятельными.

Артель спелась быстро. Старостой избран Сашка. Одно удручает – отсутствие денег. Надо снять помещение, обставить его.

И в ломбард относится куча вещей – обру-

чальные кольца, карманные часы, перины, подсвечники. Саша жертвовал даже своей любимой гитарой, на которой с большим чувством наигрывал «Тебя, мой друг, Марго», Лиза – праздничным бордо-платьем с розовым бантом и атласными туфлями, а он, Зигмунд, цилиндром и сюртуком, в котором венчался со своей Кларой.

И вот у них помещение – три большие комнаты в первом этаже, в центре, обстановка, вывеска: «Дамско-портняжеская артель». Они празднуют открытие. Памятный день.

В магазине и мастерской – светло, зайчики, как мальчишки, резвятся по стенам, оклеенным светлыми обоями, пахнет приятно свежей краской, лаком, штукатуркой, и из журчащего неумолчно, как горный ручеек, вентилятора под окном тянет свежестью.

Все они прилично одеты, хорошо выбриты, в манишках и галстуках. Сашка, как подобает старосте, – в сюртуке. Суется, распоряжается. Ждут гостей.

В средней комнате накрыт длинный стол. Белая, как алебастр, скатерть, серебро, хрусталь, фарфор. Петушки и башенки из салфе-

ток! Роскошь эту безвозмездно нанесли товарищи из артели официантов. Артель прислала также двух своих молодцов ухаживать за гостями. Они во фраках, глаженных сорочках и перчатках. Бароны.

Артель гнутой мебели, в свою очередь, одолжила им три дюжины венских стульев.

Посреди стола торт – рог изобилия. На карточке, воткнутой уголком в червонцы из мармелада и леденцов, щедро рассыпанных по карамельной дощечке, отпечатано: «2-я сапожная артель».

Звонок. Другой торт. Башня Эйфеля. Его торжественно вносит мальчишка в белом колпаке и переднике. Это любезность переплетчиков. Тортам, кажется, не будет конца. А вот гости! Неизвестный молодой человек в потертом рединготе, пенсне в роговой оправе и стоптанных скороходах. Из верхнего кармана выглядывает замасленная записная книжка и карандаш. Движения несколько робкие, неуверенные.

– Позвольте представиться, сотрудник!..

– Представитель печати?! Очень приятно!

Они знакомят его с помещением. Поправ-

для часто непокорную манишку, он интересуется утюгами, кафельной печью, конфоркой и, морща лоб, как Спиноза, заносит все в записную книжку. Еще один представитель печати, депутаты от всех артелей, по двое – мостовщики, рослые детины в красных рубахах под пиджаками и бородах лопатой, пекари, квасовары, городской голова, сам городской голова...

Последним является «батька», артельный батька в своем неизменном длинном сюртуке. Он выше всех ростом и широк в плечах. Лицо у него крупное, доброе, усы темные, пышные, как у запорожца, слегка тронутые тусклым серебром глаза светятся любовью и счастьем. Все наперерыв услуживают ему. Один отбирает у него трость, другой – шляпу, третий – пальто.

– Милости просим за стол!

Батьку и голову усаживают на почетные места.

Гости едят, пьют, говорят речи. Говорит голова, сотрудник. Выражают наилучшие пожелания артели. Саша отвечает довольно складным тостом. Аплодисменты, рукопожатия.

Очередь за батькой. Он говорит мягко, тепло, просто, как никто.

У штучников от счастья и радости закипает в груди. Он, Зигмунд, ловит его руки, целует их и шепчет, обливаясь слезами:

– Моисей!.. Вы – Моисей!.. Как он вывел евреев из Египта, из рабства, так и вы!..

Батька осторожно высвобождает свою руку и прижимает Зигмунда к груди сбоку, и Зигмунду так тепло на этой груди, так хорошо. Он весь век лежал бы на ней. Плачут и серб Войтов, и Шпунт.

По случаю торжества они сегодня не работают, хотят веселиться. Саша, подобрав фалды прокатного сюртука, пляшет камаринскую.

Кто-то приносит батьке цитру, и он поет, медленно перебирая струны, свою излюбленную «думу» собственной композиции, сочиненную им в пути, при бесконечных переездах из города в город, в душных коробках третьего класса под неугомонный стук и грохот колес:

*Гей, Вкрайино, гей, Вкрайино!..  
Наша рыдна маты!..*

*За що ж маєшь сиротыну,  
От так пропадаты!..*

Лицо у батьки одухотворенно. Он грезит родной забитой Украиной, ее славным, поэтичным прошлым, бесстрашными «лыцарями», подплывающими на ненадежных челнах к самому Цареграду, Запорожской Сечью, и настроение его передается окружающим. Все вокруг замерло.

Войтов и Зигмунд не сводят с него восторженных глаз. Зигмунд думает:

«Вот человек!.. Бросил все, семью и весь отдался служению ближнему».

И если бы человек этот сказал: «Иди за мной!» – Зигмунд не задумался бы ни на минуту и пошел бы даже на край света (как некогда рыбаки – за Христом)...

Штука, лежавшая на коленях у Зигмунда, сползла и скатилась под стол. Зигмунд нагнулся и поднял ее со словами: «Сон, золотой сон!..»

Он водворил ее снова на колени и снова унесся в прошлое.

Следующий день... Все исчезло – торты, посуда. Они сидят за рабочим столом в соб-

ственной мастерской. Они получили вчера же, во время торжества, два заказа – на сак и на жакет. Почин.

Вейнцвейг заливается, как канарейка: «Бог всеильный, бог любви-и!..» Голос его в этой большой, светлой комнате звучит чище, красивей.

Гончаров острит по адресу m-m Шевалье. Лиза хохочет – звенит колокольчиком. Всегда угрюмый Войтов, прокусывая гнилыми зубами макара (нитки), широко улыбается. Всем весело, легко. При мысли же, что они работают исключительно на себя, иголки мелькают в их пальцах с утроенной быстротой.

Гончаров вдруг бросает работу и говорит:  
– Лиза! Давайте падеспань танцевать!  
– А Шевалье что скажет? – спрашивает она лукаво.

– Прошло то время! Ну-ка, Мазини!  
Вейнцвейг обрывает свою арию и заводит падеспань.

– Та-ра-та-та, тара-та-та-а-а!..  
Шпунт подсвистывает.  
Лиза и Гончаров со смехом выходят на середину комнаты, берутся за руки и танцуют.

Немного погодя, раскрасневшись, они возвращаются к столу, и работа течет непрерывно, вплоть до вечера...

Сашка тем временем мечется по городу, ищет денег, кредита. Ах, эти деньги, этот кредит!

Прошла неделя, другая. Повышенное настроение падает. Вейнцвейг поет редко. Лиза нервничает. Часто слышен протяжный вздох. Что сделалось с их золотым сном, надеждами?!

Куда Саша ни бросается – отказ. Все сукончики будто сговорились не давать кредита. Это работа Шевалье.

Однажды Саша пришел необыкновенно мрачный. Зубы стиснуты, руки дрожат.

– Что случилось?

– Являюсь к Игнатсу. Позвольте представиться, такой-то! Поддержите! Народ молодой, трезвый, честный!

А он как затопаёт:

«Бунтовщики! Вон!»

Поступок суконщика вызывает негодование.

– Только не падать духом! – говорит Саша.

Он по-прежнему мечется по городу...

Шестой день, как у них лежит заказ на фига́ро и пелерину, и они не могут выполнить его. Не хватает материи. Необходимо «очистить» в таможене от пошлины последние заграничные журналы, нитки все вышли...

Саше иногда удается раздобыть четвертную, и они на время вздыхают свободно. Они похожи на челнок, то погружающийся в воду, то выплывающий...

Все источники иссякли. Они голодают и в отчаянии дают торжественную клятву – бороться, «пока не останется камень на камне».

Дни ползут, а кредита все нет. Управляющий домом выселяет их. Случайно завернувший к ним представитель печати находит полное запустение. В шкафу ни кусочка материи, овальное зеркало, конторка и мраморный столик куда-то исчезли. Исчезла вывеска, и к старосте жметя кучка голодных, оборосших, оборванных молодых людей. Они жалуются на бессердечие купцов, но ни слова, что они близки к гибели. Мучительно стыдно, больно...

Первый серьезный удар. Записка от Вейн-

цвейга. Он не пришел на работу. Писал, что не в силах больше выносить такой жизни, и, как ему ни тяжело, он должен оставить артель. В заключение он слезно молил прощения за измену и горячо обнимал и целовал братьев-товарищей.

Спустя два дня получилась такая же записка от Гончарова.

Зигмунд вспомнил один из последних дней.

Сентябрь. В мастерской пусто. Один стул, стол да стенная лампа. Холодно. За окном плещет в мутных лужицах дождь.

Из всей артели уцелело только трое – Саша, Лиза и он – Зигмунд.

«Остатки великой французской армии!» – как окрестил их с горькой иронией Саша.

Лиза, мрачная, осунувшаяся, согнувшись, как старуха, и накрывшись вязаной черной шалью, ходит из угла в угол, и шаги ее гулко отдаются в пустой комнате. Тяжелые думы и страдания изрезали ее красивый круглый лоб глубокими морщинами. Зигмунд стоит у окна, больной, усталый, а Саша – посреди комнаты и мечет громы. Он страшен.

Он говорит, что с господами Шевалье и Игнатсами надо бороться другими средствами, – слово «другими» он резко подчеркивает, – и что он знает, что теперь делать.

– Я прозрел!

И вдруг он впадает в бешенство. Он обзывает бежавших товарищей предателями, проклиная их слабость и трусость.

Он затем набросился на него, Зигмунда, и Лизу.

– А вы! Чего не уходите?!. Ведь я не неволю! Я останусь один!.. Пока камень не останется на камне!.. Слышите?!

– Нет, кет! Я не оставлю тебя!.. До конца с тобой, и куда ты, туда я!..

Голос ее дрожал, как струна. А он, Зигмунд, молчал. Он прятал глаза, боясь выдать себя.

Настал другой день, и он не пошел больше туда. Нельзя было. Раечка его умирала от скарлатины. К вечеру она умерла.

Потом...

Зигмунду было страшно вспоминать это потом... Он нахлобучил шляпу и пошел к Шевалье.

Если бы Саша или Лиза видели его униже-

ние! Боже!..

При этой мысли сердце у него заныло и медленно поползла слеза.

– Ты!.. Артельщик дурацкий! – услышал он неожиданно позади себя грубый и насмешливый голос закрыщика. – Ты пришел сюда работать или галок ловить?! Быть может, хочешь назад в артель? Скажи!

Зигмунд быстро смахнул слезу, сжался в комок, схватился за свою работу, за сак, и шибко забегал по черному полу иглой.

Он больше ни о чем не думал теперь.

Рокотали швейные машины – казалось, что с головокружительной высоты с шумом и грохотом падает в бездну вода, туман и смрад в мастерской становились все гуще и невыносимее, огненный глаз конфорки, точно заплывший кровью, лукаво и насмешливо подмигивал...

# Примечания

# 1

«В хорошем вкусе» (*франц.*).

[^^^]

Твердая цена (*франц.*).

[^^^]

«Венский шик» (нем.).

[^^^]

# 4

«Парижский шик» (*франц.*).

[^^^]

Что? (*франц.*)

[^^^]

Негодяи... (франц.)

[^^^]

Конечно! Да, да! *(франц.)*

[^^^]